

## ОТ «МЕРТВЫХ ДУШ» К «БРАТЬЯМ КАРАМАЗОВЫМ»

По свидетельству П. В. Анненкова, одной из книг, которую Гоголь постоянно читал в Риме, была «Божественная комедия» Данте.<sup>1</sup> В 1838—1839 гг. здесь же (возможно, под влиянием Гоголя) его друг С. П. Шевырев начал свой (незавершенный) перевод «Божественной комедии».<sup>2</sup> Непосредственные ассоциации с «Адом» Данте вызывало чтение «Мертвых душ» у молодого Герцена.<sup>3</sup> Поэму Данте, по-видимому, не случайно упоминает и сам Гоголь в первом томе своей поэмы.<sup>4</sup> Все это дало основание Алексею Веселовскому высказать мысль о непосредственном влиянии трехчастного построения «Божественной комедии» на замысел трех томов «Мертвых душ», из которых первый должен был соответствовать по замыслу автора дантовскому «Аду», второй — «Чистилищу», а третий — «Раю».<sup>5</sup>

В первом томе «Мертвых душ» Гоголь нарисовал портреты своих героев, какими их сделали существующие условия жизни, умертвившие в них живые человеческие души. Главными же действующими лицами второго тома должны были стать люди рядовые, ординарные, погруженные в мир сонного, ленивого прозябания, но способные к нравственному возрождению. Его должны были пережить Тентетников и его невеста — Улинька, последовавшая, подобно женам декабристов, за своим мужем в Сибирь, куда ему было суждено быть сосланным за участие в обществе вольнодумцев. В том же втором томе в образах трезвого и рачительного хозяина Костанжогло, откупщика Муразова, появляющегося в эпилоге генерал-губернатора Гоголь намеревался представить три положительных образа современных русских людей, соприкосновение с которыми должно было произвести нравственный переворот в Чичикове, помочь пробуждению в нем нового человека, способного к моральному возрождению. Наконец, в третьем томе своей эпопеи Гоголь хотел представить реальное «воскресение» не только Чичикова, но также

<sup>1</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 77.

<sup>2</sup> Переписка Н. В. Гоголя. М., 1988. Т. 2. С. 286—290.

<sup>3</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 220.

<sup>4</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 6. С. 144 (далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Гоголь, с указанием арабскими цифрами тома и страницы).

<sup>5</sup> Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. 4-е изд. М., 1912. Т. 2. С. 207—246. Ср.: Шкловский В. Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. М., 1966. Т. 2. С. 147; Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972. С. 85—94; Смирнова Е. А. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 126—134, 189.

Плюшкина и других героев первого тома поэмы, ставших «живыми» душами.

Этот утопический замысел не был Гоголем реализован. Мечтая пробудить души своих современников и указать им путь к нравственному возрождению, великий писатель не смог этого сделать. Осознав неудачу второго тома «Мертвых душ», он решил выступить перед читателем в 1847 г. не в качестве писателя-художника, но в качестве проповедника-моралиста, преследуя ту же цель потрясти души своих современников и этим способствовать их воскресению своими «Выбранными местами из переписки с друзьями».

Неуспех «Выбранных мест» потряс Гоголя. И дело не в том, что их не принял Белинский. Отрицательно отнеслись к «Выбранным местам» и ближайшие друзья Гоголя — Аксаковы.

Обычно принято считать, что неуспех «Выбранных мест» связан с тем, что они не могли быть приняты революционными кругами русского общества, плашатаем которых был Белинский. Это распространено как в России, так и на Западе суждение нуждается, думается, в коррективах. Не только Белинский, но и Пушкин, М. М. Сперанский, декабристы, члены кружка Петрашевского считали главным злом русской жизни крепостное право. Его заклеил Грибоедов в «Горе от ума». В своем знаменитом юношеском стихотворении «Деревня» Пушкин смело выступил с требованием отмены в России крепостного права, призвав Александра I проявить инициативу в этом «проклятом» вопросе русской жизни. После декабрьского восстания 1825 г. Николай I признал необходимость уничтожения в России крепостного права и желал в конце 20-х—начале 30-х гг. его отменить, но его инициатива натолкнулась на сопротивление большинства членов Государственного совета — владельцев крупных крепостных хозяйств. В результате, несмотря на множившиеся убийства крестьянами помещиков, о которых ему тревожно доносило III отделение собственной его величества канцелярии, Николай I решил отложить освобождение крестьян до восшествия на престол своего наследника. Пушкин в заметках о русском дворянстве и незавершенном романе «Дубровский» призывал русское дворянство стать независимым по отношению к царю сословием, оплотом народной свободы и благосостояния крестьян. Гоголь же в «Выбранных местах» продолжал рассматривать крепостное право как *естественный факт русской жизни*. Он призывал дворянство не к независимости, к защите своих свобод и благосостояния крестьян, а к беспрекословной верности царю и правительству. Другими словами, Гоголь в «Выбранных местах», в отличие от Пушкина, игнорировал те назревшие политические и экономические реформы, сторонниками которых были не только западники, но и славянофилы 40-х гг. и отказ от которых имел тяжелейшие последствия для огромного большинства населения России, а позднее привел через семь лет после выхода его книги к поражению России в Крымской войне. Думается, что здесь — одна из причин того, что Достоевский, который был горячим сторонником крестьянской реформы 1861 г. и считал ее необходимым завершением мучительного «петровского периода» русской истории, не мог принять книги Гоголя ни в молодые годы,

когда он был петрашевцем, ни позднее, о чем мне уже приходилось писать.<sup>6</sup>

«Стыдно и непонятно, как мы можем называть себя христианами и держать в рабстве своих братьев и сестер. Господин не может быть христианином, господство и рабство не могут сосуществовать. Уничтожение рабства надобно главнейше обосновать на Христовом учении о братстве», — записал в ноябре 1848 г. в своем дневнике славянофил А. И. Кошелев. Христианин «не должен быть рабовладельцем. В краях, где рабство еще существует, память об этой великой истине должна быть присуща сознанию всех людей и устремлять их мысли к решению общественного вопроса, который, какими затруднениями он ни был обставлен, не может быть не решен», — вторил ему А. С. Хомяков.<sup>7</sup> Эти мысли несомненно разделял и автор «Бедных людей», который, по свидетельству А. И. Пальма, на одном из собраний Общества Петрашевского «тихо и медленно сказал: „Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом к нашей великой будущности“» (18, 316).

Осознанная Гоголем с горечью неудача «Выбранных мест» побудила его к продолжению работы над вторым томом «Мертвых душ». В то же время Гоголь приходит к выводу и о других причинах неудачи своей книги: к ней привело, по мнению писателя, с одной стороны, недостаточное знание им русской жизни, — и Гоголь призывает своих друзей и корреспондентов присылать ему как можно больше конкретных фактов и сведений о ней, а с другой — осознание им собственной греховности, которая якобы помешала ему достичь своими сочинениями достаточного воздействия на общество. Это второе обстоятельство приводит Гоголя к поездке в Иерусалим, ко гробу Господню, к общению с оптинскими монахами и следованию наставлениям отца Матвея Константиновского, а позднее — к предсмертной болезни.

Однако мысль о необходимости воскресения русского общества к новой жизни не покидает Гоголя. Эту мысль он выразил уже в заключающем «Выбранные места» письме «Светлое воскресенье» и ряде других писем, вошедших в эту книгу.

«Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? — писал Гоголь. — Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. „Хуже мы всех прочих“ — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это (праздник будущего воскресения России. — Г. Ф.). Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами забытой, близкого закону Христа — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших

<sup>6</sup> Фридендер Г. М. Достоевский и Гоголь // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Т. 7. С. 3—21.

<sup>7</sup> См.: Калужанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. М., 1892. Т. 2. С. 82—84. Ср.: Цимбаев Н. И. Славянофильство. М., 1986. С. 168.

призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства...» (Гоголь, 8, 417). «„Не оживет: аще не умрет“, говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть» (Там же, 297).

Вера Гоголя в возможность воскресения России и русского человека для новой, лучшей жизни по «закону Христову» была по-разному воспринята его преемниками — Толстым и Достоевским. Она получила свое дальнейшее развитие в «Войне и мире» и «Воскресении», так же как в великих романах Достоевского от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых». И думается, что, когда Достоевский в 1862 г. писал в предисловии к публикации в журнале «Время» русского перевода романа Гюго «Собор Парижской богородицы» о том, что главной, «христианской», «высоко нравственной» мыслью всего искусства XIX в. стала мысль о «восстановлении погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных пред-рассудков» (20, 28), он думал не только о Гюго, но и о Гоголе, равно как и о Жорж Санд, Диккенсе и других романистах, которые, подобно Гоголю и Гюго, стремились к оправданию «униженных и всеми отринутых парий общества» (Там же), духовному обновлению и воскресению человечества в России и на Западе.

Мой покойный друг, выдающийся исследователь Рабле, Шекспира, Сервантеса и испанской литературы XVII в. Леонид Ефимович Пинский выдвинул в одной из своих последних статей — статье о комедиях Шекспира — в качестве важнейшего понятия для теоретически ориентированного литературоведения понятие о «магистральном сюжете». «Магистральный сюжет, — писал Пинский, — это то коренное, субстанциональное в фабуле, характерах, построении (...), что как бы стоит за отдельными произведениями некоей целостностью, проявляясь, видоизменяясь в них, — „явлениях“, модификациях, вариациях жанра — при сопоставлении этих произведений „в контексте“ художественного творчества и читательского восприятия».<sup>8</sup>

Как мне представляется, понятие «магистрального сюжета» плодотворно для понимания не только комедий Шекспира или романов Тургенева, на которые ссылается, обосновывая свою мысль, Пинский, но и для всей русской литературы середины и второй половины XIX в., и прежде всего для творчества Гоголя, Достоевского и Толстого в их эпохальной внутренней связи.

«Будьте не мертвые, а живые души» — таков был завет Гоголя его ученикам и преемникам. И каждый из них по-своему (вплоть до Щедрина в «Господах Головлевых») развил этот завет Гоголя, сделав идею нравственного восстановления и «воскресения» своих героев к новой жизни главной идеей своего творчества, его «магистральным сюжетом».

Уже сам Гоголь в гениальном повествовательном фрагменте «Рим» впервые в своей жизни избрал сюжетным ядром произведения не духовную смерть, а *духовное воскресение* героя. В более ранних произведениях Гоголя, начиная со «Страшной мести» и «Миргорода», в центре

<sup>8</sup> Пинский Л. Магистральный сюжет. М., 1989. С. 51.

стояло не нравственное воскресение, а гибель героев. Гибелью героя или его духовным умиранием заканчиваются и «Невский проспект», и «Портрет», и «Записки сумасшедшего», и «Шинель». А в «Ревизоре», «Женитьбе», «Мертвых душах», «Игроках» Гоголь делает нравственное омертвление героев своим «магистральным сюжетом». Но в «Риме» речь идет не о нравственной гибели, а о воскресении князя, который обретает это воскресение в духовном единении с Италией и ее народом, его скрытых внутренних силах, в качестве символа которых выступает девушка из Транстивере (т. е. не из официального папского Рима, а «с того берега» Тибра) — Аннунциата.

Так намечается в русской литературе новый «магистральный сюжет» — нравственное воскресение героя. Причем воскресение это не простое, а трудное, ибо оно ведет человека через грех, сомнения, а порою и преступление к новой жизни. Подобный «магистральный сюжет» намечен Достоевским уже в «Записках из Мертвого дома», название которых, по-видимому, не случайно перекликается с названием «Мертвых душ». Дальнейшее развитие тема воскресения получает в «Преступлении и наказании».

Герои Достоевского и Толстого не повторяют Гоголя. Гоголь считал главным злом «пошлость пошлого человека», «пошлость всего вместе». Это не значит, что он не видел в Акакии Акакиевиче или Поприщине страдающего человека, как полагают многие истолкователи «Шинели» и «Записок сумасшедшего». В своем безумии Поприщин обретает истинное человеческое лицо, а Акакий Акакиевич — каллиграф, подобно князю Мышкину. Мечта же о новой шинели делает из него фанатика «идеи», подобного Поприщину. Но Гоголь, по собственному выражению, чтобы ярче заклеймить душевное зло и общечеловеческую пошлость, разжаловал своих героев из «генералов» в «солдаты». Любимыми героями его стали «средние», заурядные люди, а не люди высокого ума и сердца. Толстой же и Достоевский избирают своими героями мыслящих людей с чутким умом и совестью. И именно на них они показывают возможность для человека пути как к падению и нравственной гибели, так и к духовному воскресению. Ибо зло мира для Достоевского не «пошлость», как для Гоголя или для Флобера, а нечто худшее и более опасное, по его мнению, — потеря не только рядовыми, но и «лучшими людьми» общества нравственных ориентиров, стремления к Добру, Истине и нравственному совершенствованию, победа в их сознании идеалов антихриста над идеалом Христа.

Герой «Записок из Мертвого дома» проходит через чистилище и выходит из него к новой жизни. Раскольников становится жертвой «наполеоновской идеи», но освобождается от нее благодаря покаянию, причащению матери-сырой земле и воспринятой им идее Христа. Он воскресает, подобно евангельскому Лазарю. Через страдание и покаяние, а не через «комфорт», он, мучаясь и борясь с самим собой, идет к духовному воскресению, к «восстановлению погибшего человека». Не всем героям Достоевского это удается. Безумием кончат даже князь Мышкин — любимый герой автора. В вихре разыгравшейся в России бесовщины нравственно гибнут и кончают с собой Свидригайлов и Ставрогин, умирают чистые душой Хромоножка, Кириллов и Шатов.

Но мысль о будущем воскресении человека не оставляет Достоевского, проходит через все его творчество, так же как в иных формах и с иными героями она брезжит у Толстого в «Войне и мире» и «Анне Карениной», сопровождая собою самые светлые и напряженные мгновения жизни Андрея Болконского, Пьера Безухова, Лёвина.

Достоевский и как публицист — на страницах «Дневника писателя», и как художник, задумав цикл романов «Атеизм», а затем — романы «Житие великого грешника» и «Братья Карамазовы», завершает свой жизненный путь, в последний раз обращаясь к «магистральному сюжету» русской литературы — сюжету о духовном воскресении русского человека, русской церкви, русского общества и государства, завещанному ему Гоголем. Не принимая «Выбранных мест из переписки с друзьями», ибо христианство Гоголя, по Достоевскому, не было «истинным» христианством (Гоголь забыл, как считает Достоевский, о социальных заветах Христа), Достоевский выступает как публицист за освобождение славянства, которое должно подготовить, по его убеждению, освобождение и духовное воскресение всех народов Европы и — более того — всех униженных племен, народов и национальностей, залогом чего является в его глазах великое явление Пушкина с его «всемирностью» и «всеотзывчивостью». Достоевский как художник стремится к созданию задуманной, но не осуществленной Гоголем поэмы о воскресении павшего человека. В образах старца Зосимы, Дмитрия Карамазова, Алеши и окружающих его «мальчиков», русских «подростков» Достоевский стремится воплотить тот же «магистральный сюжет» русской литературы, который Лев Толстой иначе, уже после смерти Достоевского, воплотит в своих народных рассказах и в романе «Воскресение» (1889—1899). В этих чаяниях Достоевского и Толстого утопия сливается с реальностью.

Старец Зосима в своих поучениях и беседах, записанных Алексеем Карамазовым, рассказывает о том долгом и трудном пути, который привел его через грех и минуты нравственного падения к духовному возрождению. И тот же путь проходит в романе Дмитрий Карамазов, хотя и не ставший убийцей отца, но осознавший свою внутреннюю греховность и ответственность за страдания всего мира, за муки других окружающих людей. А в лице Алеши и «мальчиков», объединенных идеями Алексея и смертью Илюши, писатель воплощает в эпилоге романа веру в будущее России и человечества, которым суждено сказать миру то «новое слово» общечеловеческого братства, христианской веры и справедливости, устремление к которому сделают возможным будущее воскресение человечества к новой жизни не путем насилия и крови, а путем «братского единения во имя Христа». Единение это не означает, по Достоевскому, что слезы ребенка не будут отныне никогда литься на земле и что борьба заветов Христа и соблазнов Великого инквизитора не будут в будущем мучить новые (в том числе и наше) поколения. Ибо земная жизнь неотделима от греха и страдания. «...Человек есть на земле существо только развивающееся, след(овательно), не оконченное, а переходное», — утверждал Достоевский. Братство людей — «идеал будущей, окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. (...) Сам Христос проповедовал свое

учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы (...) человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением, то есть жертвой» (20, 173, 175). Только от самого человека, от его свободной воли зависит, насколько он сможет мужественно, с открытыми глазами и добрым сердцем противостоять соблазнам зла и способствовать победе добра в своей личной и общей нашей земной жизни. Вопреки Гоголю, никаким объективным усилием художника и магией искусства Маниловы, Коробочки и Чичиковы не могут быть воскрешены и преображены. Но при условии искренности, отсутствии боязни тяжелого труда над собой и при ощущении своей нравственной вины перед окружающими людьми путь искупления и стремления к идеалу открыт перед каждым человеком, в том числе и перед нами. Таков был ответ автора «Братьев Карамазовых» на вопрос, поставленный создателем «Мертвых душ». И хотя далеко не все предвидения Достоевского, как показала история XX в., сбылись (да и ни один — даже самый великий — писатель не может, думается, предвидеть всю сложность будущих путей развития человечества), мы должны быть счастливы уже тем, что идеи Достоевского — художника и мыслителя — о будущем неразрывном единстве культур России и Европы и о способности людей противостоять силам зла и насилия в своем стремлении к нравственной свободе и идеалу братского единения людей вошли в качестве неотъемлемой части в нашу сегодняшнюю жизнь и в объединяющие и вдохновляющие нас общие устремления. И хотя эти возвышенные цели еще не достигнуты нами сегодня (да и сам Достоевский порою — в особенности в своей поздней публицистике — не всегда оставался верен им до конца), мы надеемся, что если не нам, то будущим поколениям удастся добиться их осуществления.

Р. БЕЛКНАН

#### О ТРАДИЦИИ ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА В «РОМАНЕ В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ» ДОСТОЕВСКОГО

В 1844—1845 гг. Достоевский написал примерно девяносто писем. Больше семидесяти из них появилось в литературных произведениях: пятьдесят три в «Бедных людях», семь в первом варианте «Двойника», а в «Романе в девяти письмах», как и следует ожидать, — одиннадцать. В этой статье я стараюсь связать «Роман в девяти письмах» с некоторыми особенностями поэтики эпистолярного жанра, несомненно известными читателям «Романа в девяти письмах».

По свидетельству Достоевского, он сочинил этот «роман» за одну ноябрьскую ночь в 1845 г. Так ли это на самом деле, трудно сказать, потому что в письме брату Михаилу, где он рассказывает о происхождении этого «романа», можно найти по крайней мере так же много литературного, как и в эпистолярных романах: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтенные неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. (...) На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностию, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? (...) Некрасов между тем затеял „Зубоскала“ — прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах. Мне это напомнило 1-й фельетон Lucien de Rubempré (...). Вечером у Тургенева читался мой роман во всем нашем кругу, то есть между 20 человек по крайней мере, и произвел фурор» (28, 115—116).

В этом письме Достоевский, возможно, думает о себе как о занимательном герое романа Бальзака, но в данном случае скорее похож на гоголевского Хлестакова, описывающего удивленным провинциальным обывателям петербургский литературный мир за десять—двадцать лет до того. Будь то действительность или литература, Достоевский явно думает о жанре писем, когда он пишет это письмо. За год перед этим он нарочито отступал от литературного вкуса того времени, когда писал «Бедных людей» в жанре по крайней мере на поколение устаревшего эпистолярного романа, и почти неприлично гордился тем, как принимали эту повесть. А теперь он кончает это письмо о новом эпистолярном